Лев Беринский

Из цикла «Амфитеатр»

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ЧАС ПРОСВЕТЛЕННОЙ ПЕЧАЛИ

Из года в год, за утратой утрата

В поздние лета привелось мне осваивать непривычный жанр. Умер Давид Авидан, потом Иегуда Амихай, потом Яков Бессер – три ивритских поэта, каждый по-своему близкий мне... В последний год ушли за жизненный горизонт замечательные и мне дорогие идишские писатели Мордехай Цанин, Аврум Суцкевер, Хаим Бейдер... Умер выдающийся русский поэт и мой друг Алексей Парщиков... И вот теперь...

Некрологов я не пишу: не умея этого и полагая, что смертью назвать их уход – преждевременно. Понимайте сказанное как хотите, объяснять подробней не место здесь.

Ну и вот, и вот этот мой отклик – что-то вроде набросков к творческому портрету или раздумья о месте во времени и в литературе «моего» было человека по отбытию его из нашего, поговаривают, реального мира.

Жуть какая – люди и судьбы, составившие самую жизнь мою – через точечку с запятой, словно перечисляешь единицы мебельного гарнитура или предметы письменного набора.

*А про скольких сказать не успел, просто не поспеваешь: за год отбыли в тот – поскольку евреи – олам а-эмэт**:** так и оставшийся в русской поэзии почти неизвестным замечательный лирик Александр Брон, вспоминается**:** донбасский Харцызск, наши споры, выступления, чекушечка на двоих, его рифма «пилотка-политика», конец пятидесятых**;** прекраснозвучная Лена Шварц, дочь Дины Морисовны, легендарной завлитши у Товстоногова, красавица, Ленинград, 1974-й**;** яркая художница, Владимира Тихвинского ненаглядная Марина Герцовская, Москва, 80-е...*

Исследователи и последователи

> «Поэт и критик вечно ведут диалог. Поэт – стихами, критик – статьями. Но Вы вынуждаете меня, "оставив на время стихи", поговорить с Вами на Вашем языке, языке литературоведа. Будучи не очень сведущ в этой лексике, признаюсь, я предпочел бы, чтобы Вы, оставив на время статьи, заговорили со мной стихами. На моем языке. Но это, видно, в следующий раз».
> А.Вознесенский. Из ответа А.Урбану.

Евг. Евтушенко провозгласил в свое время (имея в виду, несомненно, себя): «Не важно, есть ли у тебя исследователи, а важно – есть ли у тебя последователи».

Что до повальной и повсеместной к середине 60-х эпидермо-поверхностной «epidēmia Evtushenko» в СССР, то вспоминается где-то описанный уже мной двухмоментный эпизод в кишиневском Доме печати году, примерно, в 66-м: Рудольф Ольшевский, доверительно сообщивший мне в коридоре редакции «Кодр»: «Ну, в Молдавии я уже Евтушенко...», а минут через пять, коридором ниже, где размещалась молдавская пресса, полусмущенное признание Петру Дудника (уговаривавшего попереводить его на русский)**:** «Сэ штий, сунт аич ун Евтушенко...». Оба, конечно, не дотягивали до прототипа, да и устремлены были в неправильно понятом направлении, но сам выбор кумира и примерка его внешних, внакидку, примет – качливой ритмики, рифмы, в текст заложенной декламационности...

В отличие от Евтушенко у Андрея Вознесенского «последователей» было неизмеримо меньше, тому причиной была его ассоциативная метафористика и многослойная – от околонаучной и искусствоведческой терминологии до приблатненно-пэтэушной фени, – языковая рифлённость на фоне общерасхожей в те поры поэтической лексики, его речевой диапазон, дающий эффект хулиганской изысканности, в своем роде не уступающей пастернаковской полифонии текста.

В гораздо большей мере Вознесенский мог быть интересен именно что «исследователям», но и эти «исследовали» его преимущественно с точки зрения оперативной литкритики, чего только стоила публиковавшаяся в «Вопросах литературы» (1973 г.) «переписка» с поэтом Адольфа Урбана из ленинградской «Звезды» (где и мне довелось, году в 64-м, иметь с Адольфом Адольфовичем долгий и тяжелый разговор – напросился-нарвался я, правда, сам**:** он слыл тогда прогрессивным).

Из немногих «последователей» А. Вознесенского, проявившихся в российском литературном процессе, упомянуть, по-моему, следует двух авторов – Петра Вегина (в СССР издававшегося в 60-е – 80-е г.г.) и Алексея Парщикова, дебютировавшего первой книжкой в середине 80-х.

О Вегине, собственно, сказать интересного можно не много, интересен здесь, прежде всего, феномен читательского «лохизма»**:** читателей у него одно время было не меньше, пожалуй, чем у самого Вознесенского, чьим грубым подражателем этот парень-с-Ростова и был. Вот как писал о нем бывший литконсультант при Союзе писателей СССР Б.М.Марьев: «...он не только по форме следовал за своим кумиром, но даже в тематике. Помнится, А. Вознесенский опубликовал поэму о девушке, застывшей во льду. О том, как ее обнаружили альпинисты, изумились ее сохранности и красоте. Через пару месяцев в печати – поэма Вегина о девушке, сохранившейся в янтаре». (Вместо сноски: в русский язык слово «лох» вошло из идиша, в котором первоначальное его значение – отверстие, дырка, а переносное – своеобразная оценка человека, равнозначная в русском беззлобному «жопа». Вспоминается малоприличная идишская песенка про портных «А гонцэ вох крощт мэн зэх ын лох»).

Другое дело – Алексей Парщиков, «впитавший» поэзию Вознесенского столь глубинно, что не всякий читающий распознает, а «исследователь» – докажет. Да и сам я, говоря об этом, вовсе не пытаюсь и считаю ошибочным «уличать в вознесенскости» Парщикова (на чт**о** иного и мог бы в раздражении побудить «режим умалчивания» Алексеем факта изначального мощного влияния на него метафористики Вознесенского). Не помню, чтобы я где-нибудь прочитал у Парщикова выражение признательности своему первому в поэзии небожителю, а в литературной жизни ангелу-хранителю, но вот в беседах наших постоянно говорил он о Вознесенском, восхищаясь его даром, обширными знаниями и (что меня поначалу удивляло) интуицией в уменье лавировать. О том же пишет Геннадий Кацов, знавший Парщикова: «Отдавая Бродскому должное, не занимался сравнительным анализом, стоя на своем**:** *Вознесенский - священная корова современной русской поэзии. И как жена Цезаря - вне подозрений!*». *(...)* Леша и читал, как Вознесенский: артистически жестикулируя, вынося ритмично руки попеременно вверх, читая нараспев и четко донося слогами поэтический ритм. Он даже горбился, как Андрей Андреевич, по совиному, целуя губами навыкат чувствительную сетчатку микрофона. Как Вознесенский, Парщиков был крайне осторожен и в своих действиях внутри «цехового братства». Его поэтические акции были выверены до мелких деталей...».

Сегодня с горестью можно прибавить**:** они и в предсмертные свои годы страдали одинаково – оба потеряв голос, наисподручнейший инструмент поэта, выверяющего живьём прозвучавшее слово на слух.

Если кара – за что? Вечное «лама?».

– А из сегодняшних, ладно, кроме меня, вы что, Лев совсем из русских никого не читаете? – вновь и вновь спрашивал меня Парщиков в Ясеневе, в Подольске, а уж в Цюрихе и в Кельне на «ты».

– Пробую, Леша, да так всё уныло... Лучше Тютчева еще раз полистать.

– А Вознесенский? Один язык чего стоит!

– Язык сам по себе ничего не стоит. Сколько лет ожидал от него хоть еще одной «Сигулды» или пронзительных нескольких строк, подобных давним «Пава, панночка, парусок, как там тонешь наискосок...».

Алексей Парщиков – вот кто истинный последователь и единственный достойный преемник метафорики Андрея Вознесенского. Последователь, чье творчество с лихвой восполнило отсутствие у Вознесенского сотен, а может и тысяч «последователей» Евтушенко. Но способна была ли поэзия Парщикова если не вытеснить, на манер Архимеда в роскошной ванне, то в какой-то хоть мере восполнить опавший объем и ослабшую энергозначимость творчества Вознесенского в восьмидесятые-девяностые годы?

Я очень люблю ранние стихи Парщикова. В позднейших «текстах» его («Нефть», «Термен» и т.п.) метафоры в зрелищности своей превосходят, бывает, метафору Вознесенского, но только сами как есть по себе, как таковые, в измерении же поэзо-охватном проигрывают. Самой прекрасной и гармоничной, просто великой метафорой считаю у Парщикова строфу из «Землетрясения в бухте цэ», в которой он описывает мужчину и женщину в «золотистой яме», этакий «кузнечик с женскими ногами». При том, что кадр этот, видео-нежность сия ведет свой генезис – ассоциативно-тематически и в плане цветовом – несомненно от Сальвадора Дали.

Конечно, и у Вознесенского немало самоцельных метафор («Электроплитками пляшут под ней города» или "По гаснущим рельсам бежит паровозик, / как будто сдвигают застежку на “молнии”»), но они лишь вкусно заполняют (как при пении) паузу интонационного вдоха между строфами или между содержательно-продвигающимися словесными блоками.

«Острый взгляд? – спрашивает себя Вл. Новиков в «Философии метафоры», – «хищный глазомер»? Но ведь эти качества просто так никому не даются: они входят в состав таланта только в сочетании с жаждой идеала. Обнаружить чисто геометрическое сходство окошка кассы с формой нимба может, наверное, каждый человек. Но точно выразить эмоциональное следствие этого сходства – дело другое. Здесь соблюдена душевная мера гармонии, ведь сравнение получилось обоюдовозвышающее: кассирша уподобилась Богородице, а та в свою очередь ожила, заговорила».

Последователей у Евтушенко было сотни, или тысячи. У Вознесенского – достовернейший и достойный – один... Где сегодня те тысячи?

Гнэва. Смертный грех ради груши какой-то

Друзья и враги, бывайте, гуд бай, из меня сейчас
со свистом вы выбегайте...
А. Вознесенский. «Осень в Сигулде»

С Андреем Андреевичем мы не были ни друзьями, ни сподвижниками – а только время от времени, что ли, «коллегами», и встречались «по делу». Он всегда приветлив бывал, но сблизиться с ним мешал мне мой внутренний ступор, оцепенение, в которое я впадал при общении с ним, начиная с первого эпизода знакомства. Году в 65-м или 66-м мы шли откуда-то с Кириллом Ковальджи в ЦДЛ пообедать, и на Качалова его кто-то окликнул издали. «А, Андрей, – остановился Кирилл, – подождем его». Подождали. «Друг мой, Лева Беринский, интересный поэт, почитал бы ты» – представил меня Кирилл, и мы дальше пошли втроем, А.А. посередке, обращаясь, что-то рассказывая бытовое, то к Кириллу, шедшему по правую от него руку, то ко мне. После трех-четырех моих сдавленных на его обращенья «угу» и упорно уставленного в землю взгляда он «забыл» про меня и разговаривал с одним лишь Кириллом, продолжая путь, впрочем, между нами. Дойдя с ними до ЦДЛ, я пропустил их вперед, а сам как бы замешкался в дверях, и – пока они, поджидая меня уже в фойе, продолжали разговор**...** выметнулся обратно на улицу.

– Ну-у-у, от тебя чего ждать, не знаешь, – укорил меня Кирилл при следующей встрече. – Ты зачем ему ухо показывал?

– Какое ухо? Кому?

– Правое, Вознесенскому. Он к тебе обращается, а ты знай отворачиваешься... Он так и понял, что противен тебе. Что это с тобой было?

Что это со мной было. Заступорился. Речь отшибло, сознание, зрение помутилось. Только ноги еще как-то двигались. А в ногах тех – как в стеклянных двух колбах – какая-то мутная вода переплескивалась. И только слышал, слов не распознавая, двух голосов неосмысленный гул.

Не однажды приводилось мне в жизни лицом к лицу встретиться, а то и засидеться в нескорой, случалось и под рюмку, беседе с персонами титулованными и прославленными, назову пунктиром Ю.А. Гагарина, Михаила Егорова, Ганса Магнуса Энценсбергера, Жоржи Амаду, Йоханнеса Рау... Но то, что стряслось со мной в первую встречу с Вознесенским, могло бы произойти, предполагаю, только если бы вдруг предо мной предстал Маяковский, Дали или Сталин, – три из четырех то и дело меня навещавших во снах персонажей, четвертым – вплоть до ночи совсем недавней, за несколько суток до кончины его – и был Вознесенский.

Вот и сработал в тот раз на Качалова эффект трансфера, спонтанного переброса меня из мира сновидческого, иллюзорного – в материальный.

Маяковский, приходя тем, кем и был – поэтом – являлся мне с середины 50-х до 62-го, когда (по прочтении «Осени в Сигулде») его сменил в моих Somnium vanaglorium («сон тщеславия», термин мой – Л.Б.) Андрей Вознесенский. Сталин мне снился с года, примерно, пятидесятого, когда Вовка Железко с криком «Сталин, собака!» запустил с последней парты в портрет над доской непроливашкой-чернилкой**:** ужас парализовал, так и вижу картину, нас, детвору, вместе с окаменевшей – казалось**:** никогда не очнется – училкой. Сальвадор стал появляться чуть ли не еженощно в начале 80-х, после того, как я повесил напротив кровати обескрашенную и увеличенную Ильей Кейтельгиссером фотокопию «Взрыва головы Рафаэля». В чем тут мистика – не знаю, но не помогало даже, когда спать я, как в том анекдоте, переходил в другую комнату, так что пришлось мне в конце концов пожечь сей Kunstprodukt , ну а сам художник приходил еще раза три, весь в черно-белом.

Вознесенский мне всегда снился сидящим на стуле и терпеливо выслушивающим, как я снова и снова пробую и не умею объяснить ему, насколько люблю я его и стихи его я люблю его я...

А тут вдруг – топаем вдоль Качалова-улицы, мимо книжного вот, Кирилл – третьим лишним, по сути. Да и сам А.А. – написавший уже, кроме т е х стихов, столько мути...

После детсада, где я, весной 46-го, декламируя на каком-то утреннике «Что такое хорошо...», вдруг беспричинно расплакался (растревожив, по-видимому, детскую душу самой просодией в общем сумбурного текста), я жил впредь под путеводной звездой Маяковского – лирика, футуриста, красавца. До самых до стихов А. Вознесенского в «Знамени», году, думаю, в 59-м. А уж «Осень в Сигулде» из «Треугольной груши» вконец перевернула всё во мне – и во всех к той поре во мне обитавших**:** Блока, Есенина, Пастернака, Багрицкого, не говоря уж о современниках.

В начале 63-го, незадолго до скандала в Манеже, я держал реферат в клубе донбасских письменников, в котором проводил параллель между А. Вознесенским и Артюром Рембо (чем вызвал уже полное отвращение к нему и к себе – за Рембу-то там мало хто вапще слыхивал) – это, собственно, была небольшая работа по метафоре, моя рефлексия на «Люблю Лорку» из «Треугольной груши», книжки, повлиявшей на меня в мере, сопоставимой с последствиями прочтения годом раньше «Доктора Фаустуса». Не могу не вспомнить мои «фатальные» взимоотношения с «Грушей» – добыл я ее в краю угля и плавок с неописуемыми приключениями, почитать у меня брали ее все ребята моей «референтной группы», кто-то и

не вернул. Спустя несколько лет перекупил ее снова в Москве – но опять увели, кто-то из литинститутцев. Но ведь смотрите – у меня она, вот она! В третий раз – и уже, надеюсь, до недальнего навсегда. В Икше на канале Волга-Москва жил я с женой моей и трёхлетненькой дочкой, и вернувшись однажды зимним вечером из тамошней, роскошной для поселковой, библиотеки, удивил их до обалдения. «Что это с тобой? – спросила Марина, а Наташка, вскинув ангельский лик с распахнутым ротиком, ошеломленно смотрела, смотрела... Я ощупал лицо своё – всё на месте. Поднял руку повыше – и наткнулся ладонью на нечто. Что-то там надо лбом выпирало с-под мохнатой ушанки – и я в ужасе вспомнил. Выбирая в библиотеке чего б почитать, я вдруг усмотрел – ту самую! – «Треугольную грушу» и, с детства испытывая отвращение к воровству, не стал ее прятать за пазуху или в карман, а так, как бы с самим собой затевая игру, сунул ее, мягкую как брошюрка и полукругло облегшую лысый череп, под шапку. Минут двадцать еще походил между стеллажами и, подобрав себе наконец пару книг, подошел, как положено, к стойке с ящичком абонентских карточек... и только понять не мог, с чего это библиотекарша, вся красивая такая, юная, не сводит с меня, дядьки за тридцать, зачарованных глаз...

В 72-м я посетил наконец Сигулду и даже поплавал – наплевав на предупреждение Гераклита – в ледяной речке Гауя., в которой – а почему бы нет? – мог ведь лет за десять до того скупнуться Андрей Андреевич...

Но к началу 80-х – не утрачивая, а всё трепетней ощущая любовь мою к раннему Вознесенскому – я почти окончательно потерял интерес к тому, что он пишет. Выходили книги, я с надеждой прочитывал их и – огорчался. Об этом, о разочарованье читателей, некогда влюбленных в него, я и попытался сказать ему в начале 83-го, когда он пришел к нам, слушателям Высших Литературных курсов, на как бы встречу с коллегами, и разговор повелся вроде в самом искреннем тоне. Смысл сказанного мной ему в форме вопроса «зачем он это делает?» состоял в том, что он – когда-то поэт высшей требовательности к себе и к стиху, – он в последние годы теряет себя, роняет «марку» своей поэзии, поставляет расхожие тексты для Зыкиной, Гнатюка, Пугачевой.

Он что-то ответил коротко и невнятно, как если б не понял, о чем я... Ал. Бродский, сидевший рядом, тихо ткнул меня локтем: «Ну чего прицепился... Не ясно с ним, что ли?».

В общем-то ясно, но возможно А.А. просто был в ту минуту обижен**:** свой вопрос я предварил неуклюжим, хотя и в ряду уважительных слов, уведомленьицем о том, что перевел недавно на идиш его стихотворение «Гойя». Но сказал это вот как: «Я, знаете, перевел вашу гойю». Слово «гой» ему, конечно, было известно. Последовала диковатая пауза.

.

Радостный миг – «Calystegia» в руках Вознесенского

«Нас много. Нас может быть четверо...»
А.Вознесенский

Совершенно справедливо, хотя и без нужной бы дифференциации, пишет о поэтах-шестидесятниках Игорь Шайтанов: «Они начали с желания увидеть и воспеть все новое, и только новое. Но прошло каких-нибудь пять лет, и обнаружилась вечная истина, что все новое катастрофически быстро старится: за ним гоняешься, поймаешь, а оно – уже вчерашний день. И вот поэты, которые, по выражению А. Урбана, "участвовали в ускорении" Времени, задумались не о том, чтобы его замедлить, нет, но о том, чтобы открыть для себя нечто не деформируемое скоростью».

Да, это сталось и с Андреем Вознесенским, но заметим здесь, что ведь «шестидесятником» был и Окуджава, под этот разряд «ускорителей» не подпадающий (что нельзя объяснить одной лишь слабостью его как стихотворца), и другие представители что

старшего годами поколения, в литературной периодизации отнесенного к шестидесятникам – Бориса Слуцкого, Бориса Чичибабина, то и младшего – Олега Чухонцева, Юнны Мориц, Александра Кушнера... Но дело не в «ускорении».

Вот что пишет Владимир Бондаренко о СМОГе, в частности Леониде Губанове: «...ни в 1960-1970-х, ни ныне, во времена полной вольности в публикациях. По сути, его открыли (спасибо друзьям) лишь в 2003 году, когда наконец вышла более или менее полная книга стихов Леонида Губанова "Я сослан к Музе на галеры…". Так и был сосланным поэтом все полтора десятилетия перестройки и гласности, тут уже на советскую власть не свалишь. Не нужен он был бывшим и нынешним кумирам стихотворчества. Редкие публикации в малотиражных журналах его друзей ситуации не меняли».

Но ведь то же самое, еще до смогистов, произошло и с поколением, которое я назвал бы младо-шестидесятниками, с поэтами, которые были младше шестидесятников «официальных» лет на пять, на семь.

Шестидесятники в «креслах», кабинетных или виртуальных. Были в сговоре ли они? Нет, конечно. Но – хорошо понимали друг друга. Помогли ли кому-нибудь? Многим. Но хорошо соображали – кому.

Большинство из переживших СССР младо-шестидесятников увидели свою первую книгу в пятьдесят свои, шестьдесят и более лет, а вышла ли хоть одна книжечка у недавно умершего в Брянске Саши Брона?

Давным-давно умер, напечатав лишь несколько крошечных стихотворений в областной газетенке, Валерий Яйленко. Жив ли спившийся от безнадеги Слава К-нов? Кто вспомнит сегодня о Лене Юдковской и нежных ее стихах про Мадемуазель Снежину?

Имена эти, сложись всё иначе, звучали бы ныне не менее памятно, чем – именитых шестидесятников. И обогатили бы русскую поэзию десятками, а по всей стране сотнями замечательных – на десятилетия вперед – стихотворений.

Да и разве забыть мне, как Римма Казакова, с которой мы подружились в сентябре 76-го на Ташкентской международной встрече писателей... Мы тогда (врозь) переводили чилийского участника Омара Лару (см. «Иностранная литература» № 5, 1977), вместе со всеми ездили по республике, выпивали с компанией и на пару изрядно... Позже, в Москве, я бывал у нее дома, между разговорами она вдруг вспоминала спросить меня про то-другое слово в подстрочниках Вергелиса, а несколькими годами позже тайком, случалось, давала прочесть несколько страниц прозы Егора, сына ее, и спрашивала, как оно мне.... Когда вдруг выяснилось, что в моем Подольске у меня нет телефона, она – на ту пору секретарь Правления союза писателей СССР – набросала на каком-то их бланке несколько слов – и уже недели через две-три могла мне, когда надо, названивать, к примеру: «Лева, тут приехала из Израиля Рина Левинзон, слышал ты про такую? Поэтесса. Давай втроем у меня посидим...». Но когда я в какой-то раз попросил её заглянуть в рукопись моей книжки стихов, уже несколько лет как формально одобренной, но так никогда потом и не выпущенной «Совписом» (издательством именно что Союза писателей, где членом я не был, а она – второй-третьей по важности шишкой), – Римма, встретив назавтра меня в буфете и уведя в свой кабинет, прикреслилась там на свое важное место, мне кивком на стул указала и внятно сказала: «Мы же, Лева, как-будто друзья с тобой, так? Но насчет стихов твоих...» – и, вдруг словно поперхнувшись, закончила после паузы: «...не поняла, так ты за кого?».

За кого.

За галлюцинаторный сонет, за корпускулы Солнца в светланиных волосах...

С первой книжечкой моих русских стихов, изданной уже в Израиле, я трохи, як то кажуть на Україні, припізнився, бо було мени вже с гаком за п'ятдесят. Так что весь небольшой тиражец, кроме нескольких раздаренных экземпляров, сложил я у себя дома, и лежит он, дожидаясь, когда после меня его кто-нибудь вынесет на ближний тут за углом мусорник.

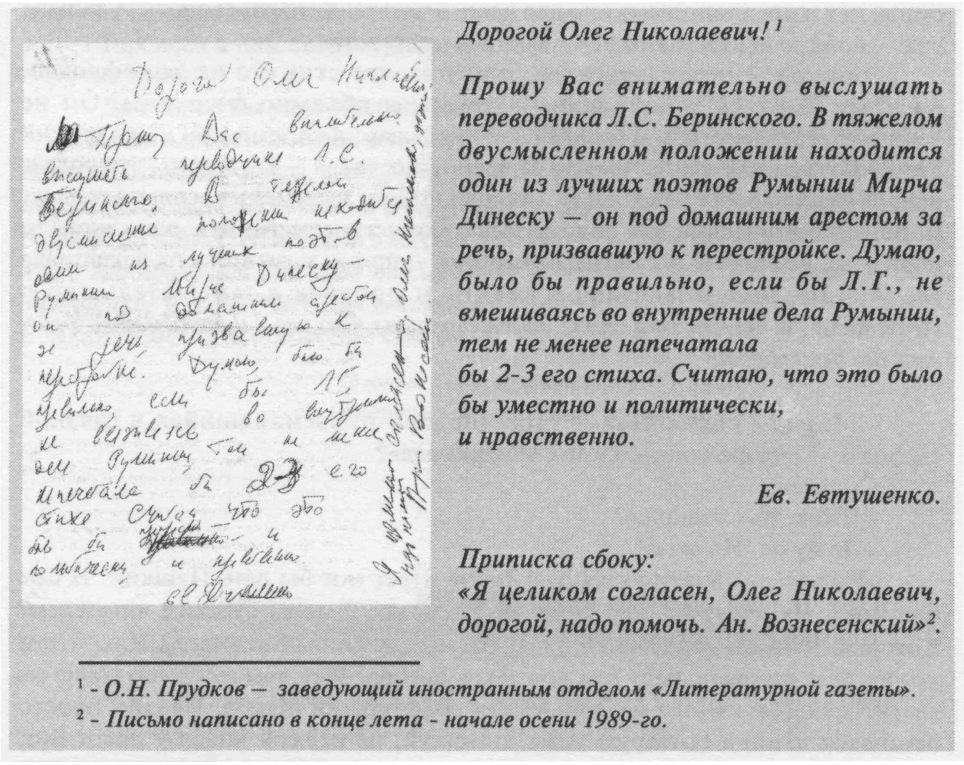
«За кого?» – не могли разобрать у меня и другие видные шестидесятники: Л.А., с которым во всем остальном мы сотрудничали и в «Дружбе народов», да и в деле издания еврейского нобелевца. Та же «Дружба народов» охотно публиковала мои статьи, рецензии, переводы из авторов народов СССР, включая двусмысленную поэму Межелайтиса и даже –

впервые на русском!– стихи умершего или задушенного в лагере Василя Стуса. Да и ведущая ныне критикесса Н.И. относилась там ко мне превосходно.

То есть**:** хороший ты парень, только со стихами своими не суйся.

К Вознесенскому – не совался даже когда он, держа низом вверх мою первую, в 89-м, книжку на идише, в легком недоумении произнес**:** «Жаль, прочесть не смогу... Да вы вроде на русском писали, еще пишете?». Были и другие уместные случаи. К примеру, когда я попросил его выбрать и дать фрагмент из его прозы о Шагале в подготовленное мной издание литнаследия художника. «Нет, – возразил он, – так нельзя, скажут, что исписался, у себя же таскаю. Я что-нибудь напишу, какой объем?» Я объяснил, что объем уже целиком заполнен, что предисловие, собственно, я сам уже написал, а его текст, если он согласится, можно будет разместить на двух внутренних разворотах обложки. Он согласился. И написал замечательно изящное эссе «Васильковый человек» (ошибочно приписываемое иногда мне, см., например, в Интернете одноименный плэйкаст – http://www.playcast.ru/view/925395/95414a514e8e1c79a6e38e9ec1842561aedadba7pl

В том же 89-м он с готовностью подписал инициированное мной письмо в «Литгазету» о необходимости защитить румынского поэта Мирчу Динеску, сидевшего тогда в Бухаресте под домашним арестом. (Само-то письмо написал Евтушенко, при этом заполнив своим размашистым обращением всю страницу, так что Вознесенскому – как и в случае с книжкой Шагала – места осталось... на одну только строчку – поперек по самому краешку).



Дорогой Олег Николаевич! [1]

Прошу Вас внимательно выслушать переводчика Л.С. Беринского. В тяжелом двусмысленном положении находится один из лучших поэтов Румынии Мирча Динеску – он под домашним арестом за речь, призвавшую к перестройке. Думаю, было бы правильно, если бы Л.Г., не вмешиваясь во внутренние дела Румынии, тем не менее напечатала бы 2-3 его стиха. Считаю, что это было бы уместно и политически, и нравственно.

Ев. Евтушенко.

Приписка сбоку:
«Я целиком согласен, Олег Николаевич, дорогой, надо помочь. Ан. Вознесенский»[2].

[1] *- О.Н. Прудков – заведующий иностранным отделом «Литературной газеты».*
[2] *– Письмо написано в конце лета - начале осени 1989-го.*

В другой раз я попросил его написать врезку к большой (первой такой в СССР публикации ивритского автора) подборке стихов Авидана в «Иностранке». «Да что вы мне, Лёва, рассказываете про него, прекрасный поэт, мы встречаемся на фестивалях... Обязательно напишу». (Не знаю, что там потом произошло, уже в Израиле я получил этот номер**:** солиднейшая публикация в переводах Савелия Гринберга и с предисловием**...** Изи Шамира).

* * *

Последний раз я видел Андрея Вознесенского в 95-м, в Тель-Авиве, в книжном магазине
Шемы Принц. К началу презентации вышедшей годом раньше в Москве его книжищи «Гадание по книге» я опоздал. Ближе к разъезду, когда он уже в сторонке подписывал книгу приобретшим её, я поднес ему полученную ранее тем же днем в типографии двуязычную алую книжицу моих любовных стихов «Calystegia Sepium», он несколько раз бегло заглянул в нее, вернулся на место своего выступления и стал прямым текстом ее рекламировать. Может, кто и купил бы, но экземпляров при себе у меня больше не было.

С тех пор тираж, как и всех других книг моих, лежит дома, готов раздарить, пересылка за счет одариваемого, затем что живу на отшибе планеты. В Акко живу. Живу.

«Окна» (приложение к еженедельнику «Вести»). Тель-Авив, 17 июня 2010 г.